

1901 г.

Новое столетие.

Янв., 15.

Вчера у Морозовых Чулков читал реферат обо мне, очень восторженный, но очень поверхностный. Я первый попал на

референта и разобрал его реферат жестоко... Все, даже явные мои недоброжелатели, бросились защищать бедного, обескураженного Чулкова и, защищая его, тем самым защищали мои стихи. Яценко говорил неглупые вещи.

Горький прислал письмо, что рассказа для альманаха не даст; отговаривается, что ничего не мог написать. Поляков негодует очень.

В журнале Ясинского статья обо мне, очень „сочувственная“.

В Москву приезжал Бальмонт. В первую встречу мы едва не „поссорились“ совсем...

Февраль — март.

Жизнь сосредоточивалась (литературная) почти вся около альманаха.

Бывал я еще на субботах у Н. Д. Филиппова, встречался там с Соболевским и др., но люди это недалекие, моих суждений о анархизме и поэзии пугались, а сами кропали политические эпиграммы. О замышленном журнале „Звенья“ почти и разговору не было. Собирались к Филиппову чуть ли не исключительно затем, чтобы пить его вина, ликеры и шоколад.

На субботе художников встретил однажды Савву Мамонтова. Бодр и свеж, но, видимо, окаменел. Я заговорил с ним, он обрадовался, уцепился за меня и стал развивать свою мысль, что художество от делания „картин в рамках“, которые некуда девать, как повесить на стену, должно перейти к работе нужных всем, но художественных вещей. Я очень возражал, но он уже неспособен понимать возражений.

На том же собрании М. Шестеркин, в длинной и бессвязной речи, провозглашая тост за Савву Ивановича, жаловался, что он был единственный, а теперь никто их (понимай, выставку Товарищества) не хочет поддерживать, картин не покупают, а рецензенты глумятся. Я возражал — говорил, что за брань рецензентов надо благодарить: она свидетельствует, что дело „товарищества“ истинное и новое. Все пришли в восторг. Гугунава чуть ли не предложил послать телеграмму В. Симову.

По делам альманаха переписывался с Перцовым, Розановым, Ореусом, Д. Фридбергом... Все „видные“ литераторы давали вещи отвергнутые или запрещенные. Зиночка Гиппиус — „Святая Кровь“, отвергнутую „Жизнь“ и „Миром Искусства“, Розанов — „Заметки“, которые отказался печатать Перцов, Чехов — рассказ, в котором сомневался, пропустит ли его цензура, наконец, Н. Минский — сонет, цензурою вычеркнутый из его „Новых Песен“. Последний, впрочем, мы не напечатали. Хлопот по печатанию было много. Последние дни читали по две по три корректуры в день. Сергей Александрович бывал в типографии раза по три в день, я уже непременно

каждый день. Даже пьяные вторники „Скорпиона“ остепенились и в значительной степени посвящались делам.

Анастасья Минович как-то однажды пришла ко мне, оставила свои стихи и записку, прося дасть суждение. Мне все было некогда. Так через месяц пришла она опять, застала меня. С час я беседовал с ней; одета она была очень бедно. Читала (поэтов) мало. Говорила не очень глупо.

Морозов все приглашает меня. Я было один раз решился, пошел, но по своей путанице, попал не к нему, а к брату его, в роскошный палеццо на Воздвиженке, да, войдя к швейцару, еще не знал имени и отчества, кого мне нужно. Глупая была история.

... С визитом у меня был Ю. П. Бартенев. Жаловался на Н. Н. Черногоубова, который выудил у него 5 рисунков Пушкина. Потом был А. Ф. Филиппов, неунывающий, но и не успевающий. Говорили с ним о пользе революции и неопытности наших в этом отношении. У Бахмана видел Дурнова. Тот излагал проекты нового театра, где сцена будет не впереди, а внизу, и рассказывал, как он будет строить театр Омона (вход — пасть чудовища, лестницы стеклянные, окна во все три этажа, рготепоиг, цвет зданий — синий с белыми фарфоровыми украшениями и т. д.).

Апрель, 6.

Моя статья напечатана в „Ежемесячных Сочинениях“. Сегодня получил приглашение сотрудничества от С. П. Дягилева (Мира Искусства).

Так меня безвольно волна
Возносит в высь.

Апрель.

Заезжал ко мне Дягилев С. П., не застал. Был у меня Перцов; потребовал 7 р. за свой сонет в „Сев. Цветах“.

По рекомендации Перцова был у меня Ник. Ник. Рейнгард. Кого вам угодно? — Я поэт декадент. — Очень жаль. Сидел у меня с час, говорил вещи довольно банальные и был некрасиво развязан; читал стихи довольно пустые. Впрочем, ему 19 лет. Бог знает, что из него может выйти. Это самое сказал ему.

Бальмонт прочел на каком-то публичном вечере стихи о резне в Турции. Составили протокол. У него был обыск. Теперь только о нем и говорят в Петербурге. Горький сидит в тюрьме. А. Толстой пишет возражения синоду. „Все закипело духом оппозиции“, говоря словами Фета.

Конец июня.

Случайно я давно ничего не записывал. Переезд на дачу, дачная уединенная жизнь, постоянные разъезды — и в результате всего белые страницы.

Я вяло и неохотно разыскивал Бальмонта. Два раза он писал мне приглашения из ресторанов, один раз из Эрмитажа, когда скорпионы сидели вместе с Мережковским и З. Гиппиус, но меня эти записочки не заставляли. Потом и записочки прекратились. Бальмонт предался былому.

И пьянство дикое — чумной порок России etc.

Вдруг получаю телеграмму от Сергея Александровича: „Монт (прозвище Бальмонта) завтра уезжает надолго, будьте в два у Сабашникова“. Конечно, лечу. Бальмонта высылают „из столиц и университетских городов и их губерний“ на два года, все за те же стихи о „маленьком султани“. Пока он едет в Курскую губернию к Сабашниковым, после за границу. Стало быть, проводы. Сначала у Сабашниковых, после в „Праге“, еще после в „Мавритании“ и у „Яра“, на другой день в „Славянском“ и на станции. Впрочем, Бальмонт не пьет. Конечно, он все тот же. Я читал свои стихи. По поводу „По улицам узким“ он сказал: — „Это тема моей будущей книги“ — „Опять плагиат?“ спросил Сергей Александрович. Сам Бальмонт читал стихи плохие. Конечно, целовался с ним. — Впервые вижу опять вас, как вы были прежде, — сказал он мне. Впрочем, от Яра я ушел рано, а Сергей Александрович говорил мне, что после были лобзания Бальмонта с ним.

Кстати, о Н. Н. Черногоубове. — Филиппов напечатал-таки письмо Л. Толстого. Черногоубов в „Курьере“ „письмом в редакцию“ заявил, что дал его лишь на подержание. Филиппов возразил письмом в „Курьер“, „Новом Времени“ и „России“. В общем, Филиппов человек нелепый. Он потратил столько на объявления, что на эти деньги мог бы издать 12 книжек своего „Русского Обозрения“. Я не верю его уверениям, что его погубила г-жа П., из-за которой его издатель отказал ему в деньгах. Вообще не верю всем его рассказам. Видя человека первый раз в жизни, он вдруг предлагает ему написать „внутреннее обозрение“ (Ивакину); мне предлагает заведывать всем литературным отделом и т. д. В его квартире 12 комнат и нет мебели, входная дверь не запирается, чем питается редактор неизвестно, кредиторы не могут получить с него и 50 к., и т. д. Кто прав в споре с Николаем Николаевичем, бог весть, ибо и сей знал, кому даст письмо, и знал, что оно набрано.

Вероятно, Николай Николаевич заволновался так по поводу своих отношений с Толстым. Он уверял, будто графиня С. А. Толстая приглашала его в Ясную Поляну разбирать архив. Не требуя повторений этого, вероятно, мельком сделанного предложения, он поехал. Был там дней 5 и вернулся,

пешком по Архангельской и Олонецкой губ. и доходили даже до Белого моря.

Раза три заходил ко мне А. Ф. Филиппов, все не заставлял. Ник. Ник. Черногоубов с ним все ссорится. Филиппов письменно грозит проломить ему голову, а П. Н. купил себе револьвер в оборону. Впрочем, оба знают, что только себя тешат.

Был у меня Мих. С. Соловьев, благодарил за статью о Вл. Соловьеве и привез первые томы его сочинений; кроме того предлагал что-то для „Северных Цветов“. После я был у него. Жена его, Ольга Михайловна, „поклонница и жрица красоты“, мило болтала о Фете и Вергилии. Был еще какой-то генерал *peu lettré*, но совершивший хивинский поход и там на верблюде читавший Тацита. Сын Соловьева, юный Сергей Михайлович, тоже мило беседовал о Корнеле и Расине. — Ждали сына проф. Бугаева, декадентствующего юношу, жаждавшего меня видеть, но случилось, что его не было дома (он живет рядом).

Приехал в Москву Бунин и пришел ко мне. Сказал, что сидел в Ялте, вдруг затосковал и, не дожидаясь парохода, поскакал на север.

На скорпионовском вторнике я с ним опять поговорил крупно, сказал, что все его писания ни на что не нужны, главное скучны и т. д. Он проявлял великодушие и всячески славил мои стихи.

От отца Ореуса, ген. лейт. И. И. Ореуса, получил письмо с благодарностью за мою статью в „Мире Искусства“ и с согласием на издание.

Как-то случилось мне в „Русском Архиве“ играть в вист так: я, Петр Иванович, Николай Платонович Барсуков и Александр Платонович (чуть-чуть не австрийский посланник, немецкий...) Старший из Платонычей имеет лицо Ивана Грозного, но с добродушным выражением, младший немного еврейского типа. Судачили о разных высокопоставленных лицах и оба были „в оппозиции“.

Бальмонт прислал мне бранные стихи. Говорят, он отчаянно тоскует в своем изгнании. П. М. Пильский, знакомец моей юности, скинув мундир, предался газетной деятельности. Заходил ко мне, сидел, говорил о дрызгах газет, о Дорошевиче, Медведском, Любиче, скрывающемся от суда на даче и т. д. Медведский писал под псевдонимом в „Русском Слове“, но Дорошевич спросил у Сытина: „Так у вас и каторжники пишут?“.

С. А. Поляков приводил ко мне некоего Семенова, бывшего издателя „Нового Слова“, ныне переводчика Пшибышевского, впрочем, я почти с ним не говорил.

Октябрь.

Начались разъезды, чтобы собирать материалы для „Северных Цветов“. Трижды были у Чехова, не добились свидания. Живет он где-то в деревянном домике чуть не на задворках: дверь отпирает подоткнутая женщина: — Нету-ги.

— Да может дома? — Стану я врать: уехали: был бы дома и сказала бы.

Был еще у Андреева (Леон. Ник.). Я его не видал, а лишь квартиру: мещански обшуденно, вплоть до картинок на стене и кушетки.

У Бартенева видел Н. М. Павлова, автора „Русской Истории“. Говорил о окончании своего труда: — „Я не как Соловьев, у которого чем ближе к новому, тем обширнее; по моему, чем ближе, тем все нелепее: один государь уничтожает, что сделал его предшественник, смысла потери, надо все кратко излагать, успею кончить“.

П. Бартенев читал мне письмо Победоносцева. „Силы мои слабеют и дух поникает под бременем многих тяжелых ощущений настоящего“.

Ноябрь.

А. Л. Волынский-Флексер приезжал читать лекцию о современной литературе. Лекция была полна личных выходов, но не лишена красивых характеристик. Когда дело дошло до того, что „Михайловский — либеральный жандарм, стоящий на своем полустанке и пропускающий мимо поезда современности“, — начались свистки; свистали две курсистки, но свист „заглушен был“ аплодисментами. Тоже и после лекции. Иные газеты писали иначе, но это неправда. После лекции студенты очень волновались, и споры между ними доходили до ссор. А мы с С. А. Поляковым пригласили Волынского в Эрмитаж и чествовали его. После поехали к Яру. Выпили достаточно. Флексер умилялся и на Яру, и на тройку (впрочем — двоичу), повторяя: „В Петербурге ничего такого нет...“

Купили у него статью о поэзии за 100 р. Он очень был рад, жал руки и говорил умиленно о „Скорпионе“. Очень жаждет газеты.

А Мережковскому лекцию запретили, и о Толстом, и о Достоевском. Впрочем, я хлопочу за него при помощи Бартенева (Ю. П.)... Мережковский после моих хлопот пишет мне ласковые письма, называя меня „дорогой“, и подписывается „ваш“.

Приезжал в Москву Самыгин (Марк Криницкий). Все такой же. Говорит о боге, о благодати, боится темноты и все его потрясает. Я возил его к Юргису и Бунину (который, между прочим, встретил меня приветливо), и обедали мы в пятницу у Ю. Бартенева.

Кожевников, летом ездивший по Северной Африке, рассказывает чудеса о пунической археологии и новых русских находках в Алжире.

По поводу одной рецензии на Бунина в „Курьере“ поместил два едких „письма в редакцию“ в „Русском Слове“ против „Курьера“ и против „Новостей Дня“ (№ 315 и 317). Попал в самый нерв, напечатали охотно. Видел в редакции „Русского Слова“ Л. Медведева, ругательски ругавшегося и требовавшего обратно свои рукописи. Меня он бросился обнимать.

Хлопоча о Мережковском, видел у Ю. Бартенева на пятнице (дни для лучшей публики, а четверги для тех, кто похуже) — г. Невежина, драматурга. Седой старичек, от которого пахнет водкой. Осмеивал юбилей Шпажинского, который тот сам себе устроил. Напротив, он, Невежин, хотел бежать от своего юбилея, но его поймали и чествовали насильно. Еще осмеивал Шпажинского за то, что тот все говорит о себе, а сам Невежин только о себе и говорил. Рассказывал, прегордо, как подслушал на каком-то представлении слова некоего зрителя: „Я за то люблю пьесы Невежина, что могу на них смело повести 16-летнюю дочь“. — „Вот что было наградой моих двадцатилетних трудов!“ — говорил нам Невежин.

В тех же хлопотах был у Ю. Айхенвальда. Говорили, что психологическое общество падает, а с ним и журнал („Вопросы“). „Нет писателей, а среди читателей общественные вопросы заступили место философских.“

Получил письмо от Мережковского: „Выезжаю в среду курьерским, надеюсь видеть вас в четверг до 1 часу“.

У Бартенева видел скульпторшу Голубкину.

Бартенев праздновал свой юбилей. Меня он просил не быть.

— Если хотите оказать мне удовольствие и благодеяние, не приходите, не поздравляйте...

Я послушался, а потом оказалось, что слушаться не надо было.

Декабрь.

Мережковские были в Москве пять дней. Мы, скорпионы, с ними почти-что не разлучались. По утрам завтракали в „Славянском Базаре“, где они остановились, с 2 так до 4, а по вечерам были где-нибудь вместе. А иной раз и в промежутки совершали визиты вместе.

С первых встреч „ошарашали“ они нас своим христианством. Первый день, четверг 6-го декабря, был праздник. Сергей Александрович и Юргис были у себя, и я должен был провести с гостями один. Надо было все время зани-

мать их собой и не спускать тона. Памятуя бывшие насмешки и поношения, с какими они встречали меня, я был осторожен, но, напротив, г.г. Мережковские были более чем любезны, наперерыв славяли мои стихи, читали свои, спорили, просили советов.

Я, согласно с письмом, явился к ним в 12 ч. Вхожу и первое что вижу — раздетой Зинаиду Николаевну. Разумеется, я постучался, получил „войдите“, но зеркало так поставлено в углу, что в нем отражается вся спальня.

— Ах, мы не одеты, но садитесь.

Поговорили из комнаты в комнату, потом Зиночка (это, кажется, ее единственное общепринятое имя) вышла.

— Я причесываться не буду. Вы не рассердитесь?

На самом деле, если она и не причесалась, то все же собрала свои волосы довольно искусно à la chinoise.

Стали говорить.

— Я не знаю ваших московских обычаев. Можно ли всюду бывать в белых платьях? Я иначе не могу. У меня иного цвета как-то кожа не переносит... В Петербурге так все меня уже знают. Мы из-за этого в театр не ходим, все на меня указывают...

Вышел Д. С., благодарит за хлопоты и прямо начал с необходимости веровать в Христа.

— Одно из двух — или вы признаете его богом, тогда вот истинный сверхчеловек, или нет, тогда вы не мистик.

Читал свои стихи, все о Христе да о страшном суде, довольно плохие. Потом читала Зиночка, прекрасные.

И сердце как игла...

Вечером мы были у Соловьевых (а я случайно был у них накануне). Зиночка была опять в белом и с диадемой на голове, при чем на лоб приходился бриллиант. С Ольгой Михайловной Соловьевой — она была знакома только по переписке. Обе, впервые встретясь лицом к лицу, друг другу не очень понравились. Ольга Михайловна нашла Зиночку не столь красивой, как ждала, а Зиночка нашла ее слишком „эстетической“. Говорили о красоте. Дмитрий Сергеевич вопиял против красоты, против декадентов etc.

Проповедь против декадентов особенно всех поражает у Зиночки. Она сама говорит, что в Петербургском Университете (на лекции Д. С.) один студент сказал ей: „Как больно это слышать именно из ваших уст“. Но они против декадентства, они за религиозность. Дмитрий Сергеевич говорит, что в „Мире Искусства“ раскол, ибо литературный отдел уже явно религиозный, а художественный еще чисто эстетический.